

которой стал П.А. Столыпин — русский дворянин, помещик и чиновник, сформировавшийся в период службы в Западном крае.

Примечания

¹ См., например: *Зырянов П.Н.* Пётр Столыпин. Политический портрет. М., 1992; *Анфимов А.М.* П.А. Столыпин и российское крестьянство. М., 2002; *Кабытов П.С.* П.А. Столыпин: последний

реформатор Российской империи. М., 2007; Пётр Аркадьевич Столыпин: энциклопедия / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2011.

² *Изгоев А.* П.А. Столыпин: Очерк жизни и деятельности. М., 1912. С. 13.

³ См.: *Jurkowski R.* Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904. Działalność społeczno-gospodarcza. Warszawa, 2001. S. 603.

⁴ *Оболенский А.Б.* Мои воспоминания // П.А. Столыпин глазами современников. М., 2008. С. 34–35.

Владислав Аксёнов

Рец. на: Б.И. Колоницкий. «Товарищ Керенский»: антимионархическая революция и формирование культуры «вождя народа» (март—июнь 1917 года). М.: НЛО, 2017. 520 с., ил.

Vladislav Aksenov

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow)

Rec. ad op.: B.I. Kolonitskii. «Tovarishch Kerenskii»: antimonarkhicheskaia revoliutsiia i formirovanie kul'ta «vozhdia naroda» (mart—iiun' 1917 goda). Moscow, 2017

Последний министр-председатель Временного правительства А.Ф. Керенский — персона хорошо известная и привлекательная для исследователей¹. При этом оценки личности Керенского как его современниками, так и потомками были достаточно противоречивы — от образа искреннего демократа-романтика до расчётливого и эгоистичного деспота.

В рецензируемой монографии, автором которой является известный специалист по социально-политической истории Первой мировой войны и российской революции Б.И. Колоницкий², рассматривается относительно короткий период нахождения Керенского у власти — с марта по июнь 1917 г. Тем не менее, считает автор, это время представляется наиболее важным для исследования обстоятельств формирования культуры вождя революции, характеризуются его легитимацией, тогда как осенью 1917 г. происходил обратный процесс (с. 27).

Исследование не относится к собственно биографическому жанру, речь идёт не столько о самом Керенском, сколько об особенностях формирования его культуры (инструментах репрезентации, динамике различных образов,

особенностях их восприятия широкими массами и политическими оппонентами политика). При этом Колоницкий обращает внимание на то, что «создатели культов Ленина, Троцкого, а затем и Сталина, культов советских вождей меньшего масштаба активно использовали наработки, опробованные и распространённые сторонниками Керенского» (с. 482). Поэтому книга актуальна не только в плане углубления наших знаний о политической борьбе в 1917 г., но и понимания коллизий последующей советской истории.

Вместе с тем работы, посвящённые исследованию различных аспектов политической культуры (в частности, языку символов, формирующему политические образы), пока не стали традиционными в исторической науке, не разработана и их методология. Вот почему автор использует социально-психологический и имагологический (с привлечением визуальных документов, зафиксировавших образы вождя) подходы, а также вынужденно обращается к эмоциологии, без которой не могут быть поняты многие аспекты культуры Керенского.

Изучение же соответствующей вербальной и невербальной политической символики ставит перед исследователем задачу многоуровневого «перевода»: как современному историку бывает порой сложно понять язык иной эпохи, так и участники революции 1917 г. не всегда понимали друг друга, поскольку говорили на разных «языках». Колоницкий обращает внимание на эту методологическую проблему: «Трудности с “переводом” своих собственных идеалов на язык современной политики испытывали не только малообразованные люди, но и представители тех групп, которые до революции культивировали аполитичность (например, кадровые офицеры). Да и политизированные современники порой не находили нужных слов для описания непривычной и быстро меняющейся реальности» (с. 10).

Последние слова данной фразы указывают на понятие «революционное время», когда повседневное в сознании обывателей могло течь быстрее или медленнее политического. В контексте историко-антропологического подхода (исследования особенностей мышления тех или иных общественных групп) изучение ощущения времени выступает важной методологической задачей. Наблюдения Колоницкого относительно ритма политической активности и способности Керенского предчувствовать изменения массовых настроений позволяют назвать его человеком, целиком поглощённым «своим» временем. В этой связи автор поднимает проблему искренности и неискренности политических лидеров, которую описывает с помощью традиционной терминологии. Для большинства социалистов революция оставалась «буржуазной», и потому они требовали её «углубления», в то время как «для либералов, не говоря уже о консерваторах, революция и на самом раннем её этапе уже зашла слишком далеко». Историк цитирует очень точные слова В.М. Чернова: «В противовес замедленному политическому пульсированию Милюкова, политический пульс Керенского бился лихорадочно» (с. 188). Эти различия в ощущении темпа революционного времени не позволяли большинству ораторов из числа кадетов, эсеров, меньшевиков стать «своими» лидерами для революционной массы, в то время как министр «полностью отождествлял себя со свершившейся революцией, и это настроение разделяли многие люди,

впервые входившие в политическую жизнь после свержения монархии» (с. 189). Таким образом, фактором политического успеха Керенского весной 1917 г. становилась его способность чувствовать своё время, революционную эпоху. Но как ему это удалось?

Рассмотрим этот вопрос в традиции эмпатологического подхода. Характерной особенностью весны 1917 г. была всеобщая эйфория, воодушевление, доходившее на популярных митингах-концертах до массового экстаза. Последний не ограничивался внешними символическими проявлениями и сказывался на психическом состоянии современников: эмоциональное воодушевление приводило к нервному перенапряжению, поэтому не случайно, что в марте—апреле наблюдалось рекордное за время Первой мировой войны количество петроградцев, поступивших в лечебницы для душевнобольных³. Колоницкий отмечает, что характерной чертой Керенского-оратора была театральность. Причём ампула, выбранное министром, было модное в эпоху декаданса ампула «актёра-неврастеника». Во время выступлений Керенский резко менял тональность голоса, то переходил на шёпот, то сбивался на истерический крик, закатывал глаза и даже имитировал полубоморочное состояние. Толпа была в восторге от такой игры, даже профессиональные актёры отдавали должное его таланту. При этом не находившиеся на одной волне с ним (и с революционным временем?) современники критически относились к эксцентричному выступлению министра, обвиняли его в фиглярстве, называли жонглёром, цирковым артистом и даже актрисой, демаскулинизируя образ политического лидера. Но что более важно, «“театральность” политика была адекватна общественным настроениям, царившим после свержения монархии. Эйфорическое сознание той поры требовало своего постоянного психологического подтверждения, что проявлялось тяготением к зрелищной праздничности» (с. 183).

Колоницкий цитирует письма, обращения граждан, в которых адресантов можно заподозрить в пограничном состоянии психики. При этом такое же состояние было и у Керенского: «С горящими, пьяными от переутомления и бессонных ночей глазами и жёлтым измождённым лицом, внезапно появляется он всюду, внося порядок, успокоение и даже радость» (с. 150).

Важной составляющей средств само-репрезентации политика являлась религиозность: «Во время российской революции вера в “чудо” имела и особенный источник: политическая революция переплеталась с революцией церковной, а политическое сознание испытывало влияние сознания религиозного, для многих восприятие переворота проявлялось в секулярных формах глубокого религиозного переживания. Революция воспринималась как Пасха, как праздник великого воскрешения России» (с. 189). При этом Керенский не использовал напрямую ресурс Церкви. Хотя Синод официально поддержал Временное правительство, в сознании современников православный священник ассоциировался с контрреволюционером-черносотенцем. Керенский, скорее, эксплуатировал архаичные уровни религиозного, магического мышления обывателей. Уже в первых жизненных биографиях министра, отмечает Колоницкий, делался акцент на то, что тонкая нервная организация Керенского якобы вырабатывала у него дар предвидения, пророчества (В.В. Кирьяков, В.Г. Тан (Богораз)), его даже сравнивали с Христом, добровольно взошедшим на Голгофу (Л.М. Арманд). Автор выделяет образ Керенского-мученика в качестве определяющего, формировавшего его культ в рассматриваемый период. При этом сложно сказать, был ли такой образ сознательно выбранной репрезентационной стратегией министра или его навязали биографы. Но имелось одно обстоятельство, предопределившее эксплуатацию данной темы: в марте 1916 г. у Керенского была удалена поражённая туберкулёзом почка, наблюдалась хроническая усталость от постоянной работы — отсюда и болезненный, мученический вид.

Другой не менее важной стратегической линией формирования культа Керенского стали «бои за историческую память». К ним можно отнести как сознательное переписывание его дореволюционной биографии (Колоницкий обращает внимание на умалчивание таких «неактуальных» в 1917 г. фактов, как «генеральский» чин его отца, главного инспектора училищ Туркестанского края, немецкого происхождения матери), так и присвоение министром памяти о революционном прошлом. В первую очередь это выразилось в выпячивании его былых революционных заслуг, в чём косвенно Керенскому помогла «бабушка русской революции» Е.К. Брешко-Брешковская.

Одним из первых приказов министра её освободили из тюрьмы, а потом разместили в его резиденциях (в Министерстве юстиции, затем в Зимнем дворце). Этот тандем легендарной революционерки и молодого политика принёс последнему, по словам исследователя, немалые политические дивиденды: Керенский получал статус её наследника, становился «внуком революции».

Нельзя забывать и о его коммеморативных инициативах: по предложению Керенского Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус выпустили брошюру о декабристах; министр посетил могилу лейтенанта П.П. Шмидта и возложил на неё георгиевский крест; во время начавшегося массового переименования кораблей Балтийского флота настоял на сохранении имён судов, названных в честь Петра I (министр питал «слабость» к «революционеру на троне»). Так, констатирует Колоницкий, «героизируемая биография пламенного революционера... вписывалась в сакрализуемую историю революционного движения, которая становилась стержнем политики памяти новой России» (с. 121).

На примере образов Керенского и их восприятия в среде обывателей в 1917 г. автор поднимает важную для революционной эпохи тему — столкновения сакрального с профанным и их инверсий на примере поведения уличной толпы. Так, в июньские дни прохождение были возмущены появлением в витрине «Невского фарса» портрета министра как раз на том месте, где незадолго до этого висели афиши скандальных порнографических постановок («Блудницы Митродоры» и «Девушки с мышкой»). Оскорблённые в своих высоких чувствах к Керенскому «театралы» не придумали ничего лучше, как устроить погром: разбили витрину, разорвали афишу, ворвавшись в кассу, выгнали кассиршу, потребовали от администрации снятия спектакля с репертуара. Подобное сочетание высоких чувств с низменными инстинктами, выливающимися в погромные действия, становилось типичным для периода социально-психологического кризиса, выражавшегося, в частности, в нетерпении и истеричности по отношению к непонятым или не понятым произведениям искусства. Примечательно, что в этой постановке создавался позитивный образ Керенского, однако, отмечает автор, представления об уровне сакрального у уличной толпы и «режиссёра» разнились (с. 465).

Ещё одним репрезентационным инструментом Колоницкий считает моду: уже в первые дни марта Керенский «переоделся», чтобы казаться ближе к простому народу. Подобные практики можно считать естественной составной частью «актёрства», но они во многом были predeterminedены предшествующей демократической традицией. Когда-то пиджак, ставший формой одежды депутатов Государственной думы, был своеобразным вызовом консервативно настроенным аристократам из Государственного совета, одетым во фраки; в 1917 г. уже пиджачный костюм казался символом старого, «буржуазного» мира (с. 167–168). Объясняя впоследствии провал Временного правительства, Керенский назвал его «властью в пиджаке».

Автор выделяет несколько этапов «переодевания» Керенского. Первый раз это произошло весной, когда министр снял галстук, отказался от крахмального воротничка и облачился в наглухо застёгнутую тужурку. Возможно, об этом преображении (2 марта 1917 г.) вспоминал кадет, управляющий делами Временного правительства В.Д. Набоков: «Помню один его странный жест... На нём был пиджак, а воротничок рубашки крахмальный, с застёгнутыми углами. Он взялся за эти углы и отодрал их, так что получился... какой-то нарочито пролетарский вид» (с. 168). Этот жест, вероятно, не был случаен. Керенский обращался к коммеморативным практикам при создании собственного культа, сам он и его окружение активно использовали образы исторических персонажей, одним из самых популярных был Кузьма Минин как спаситель русского народа от Смуты. Вместе с тем «отдирание» воротничка рубашки напоминает другой эпизод отечественной истории, описанный Н.М. Карамзиным, — клятва Бориса Годунова, произнесённая во время венчания на царство: «Отче, великий патриарх Иов! Бог мне свидетель, то в моём царстве не будет ни сирого, ни бедного» — и, тряся верх своей рубашки, примолвил: «Отдам и сию последнюю народу»: тогда единодушный восторг прервал священнодействие: слышны были только клики умиления и благодарности в храме; бояре славословили монарха, народ плакал»⁴.

Описанное Карамзиным действие весьма напоминало экстаз публики на выступлениях Керенского: возбуждённые дамы нередко бросали к ногам министра свои

драгоценности, а солдаты и офицеры — георгиевские ордена и медали. Практикой стало вынесение его из здания на руках, нередко восседавшего на стуле, как на троне. Примечательно, что критически настроенные современники сравнивали Керенского с Борисом Годуновым, причём царские амбиции доказывали слухами о том, что министр якобы собирался посвататься к одной из дочерей Николая II⁵.

Второй этап «переодевания» произошёл в мае—июне 1917 г., когда Керенский начал активно агитировать за июньское наступление на фронте. Тёмную тужурку он заменил формой защитного цвета: «Первоначально Керенский, приезжая на фронт, внешне напоминал простого солдата революционной поры: фуражка без кокарды, шаровары и ботинки с обмотками, гимнастёрка, лишённая погон... Позднее он облачился во френч, кепи, бриджи и краги. Образ демократического министра, возглавившего военное ведомство, милитаризовался и вестернизировался» (с. 309).

Нельзя не упомянуть, что в насмешку народная молва выдумала и третий «этап» переодевания: якобы 25 октября 1917 г. Керенский в женском платье бежал из Зимнего дворца. Впоследствии, находясь в эмиграции, бывшего главу правительства очень раздражали эти слухи, получившие даже кинематографическую визуализацию в Советском Союзе. Вместе с тем подобные разговоры стали естественным развитием ещё одного образа министра — Керенского как «Александров Фёдоровных». К сожалению, Колоницкий подробно не останавливается на фемининных образах своего «героя», хотя разбирает их более подробно в предыдущих статьях⁶.

Следует отметить, что смена имиджа в 1917 г. была характерна и для политического визави Керенского — В.И. Ленина. Именно тогда появилась знаменитая ленинская кепка. По воспоминаниям современников, Ильич прибыл 2 апреля 1917 г. на Финляндский вокзал в тёмном демисезонном пальто, круглой жёсткой чёрной шляпе, блестящих вычищенных штиблетах. Из-под пальто виднелся тёмный костюм, белый воротничок рубашки и синеватый галстук⁷. Однако, взобравшись на броневик и начав выступление, Ленин сразу понял, что выступать, активно жестикуюлируя, со шляпой на голове, или держа её в руках, крайне неудобно. От пиджачного

костюма-тройки, в отличие от Керенского, Ленин не отказался, но дополнил свой образ пролетарским головным убором.

В структуре монографии отражена многоуровневость исследования. Собственно имагологическими являются вторая и третья главы, которые посвящены «мирному» образу министра-демократа и милитаризованному образу «вождя революционной армии», в то время как первая и четвёртая – в большей степени предистории его революционной биографии и периода июньского наступления, совпавшего с кризисом Временного правительства. Хотя структура книги логична и подчинена проблемно-хронологическому принципу, тем не менее она не всегда позволяет в должной мере систематизировать материал. Колоницкий исключил из оглавления сюжеты, связанные с инструментами и технологиями культа Керенского. В результате механика легитимации вождя рассыпается по различным главам и параграфам монографии, что несколько затрудняет чтение. Так, например, кажущийся мне важным сюжет «переодевания» Керенского, иллюстрирующий инструментальную функцию одежды в формировании образа, не отражён в оглавлении и разбит на несколько частей.

Колоницкий далёк от задачи составить полную антологию образов Керенского и подробно останавливается лишь на наиболее важных из них – тех, что представлены в максимально широком круге источников, а также принципиальны в семантическом плане и необходимы для расшифровки общего культа вождя. Так, автор упоминает образ Керенского как «первой девственной любви революции», но, разбирая визуально-символическое пространство весны 1917 г., в котором важное место занимала аллегория революции как венчания России со Свободой, мы можем уточнить данный образ именно в контексте свадебного культа⁸. Не случайно автор цитирует посвящённые Керенскому строчки М.И. Цветаевой, написанные 21 мая 1917 г., в которых упоминается образ жениха: «Кому-то гремят раскаты: // Гряди, жених! // Летит молодой диктатор, // Как жаркий вихрь» (с. 336).

Показательно также, что в то время как одни источники эксплуатировали образ Керенского-мученика и отмечали болезненные черты министра, другие (изобразительные документы) подчёркивали маскулинность, воспевали образ Керенского-богатыря, что

может быть рассмотрено сквозь призму традиции сватовства, когда представители жениха расхваливали свой «товар». В комплиментарно-патриотической карикатуре художники часто акцентировали внимание на мускулистые, большие руки Керенского: в одном случае он оказывался в роли рабочего, с тяжёлым молотом с надписью «наступление», разбивавшего голову Вильгельму II, в другом – св. Георгия, убивавшего змея-контрреволюцию, в третьем – Александра Македонского, разрубавшего гордиев узел «партийной неразберихи».

Колоницкий исследует не только тонкую ткань образов, но и анализирует конкретные действия министра, определявшие его революционную карьеру. Одним из его первых важных шагов явилось приглашение 26 февраля 1917 г. собравшихся у здания Таврического дворца восставших солдат сменить караул в Государственной думе. Их появление в Думе окончательно развернуло настроения депутатов в пользу революции. Данный эпизод оброс слухами и оказался важным символом-инструментом легитимации Керенского. По одной из версий он вышел один против направленных царём для разгона Думы 25 тыс. солдат и сумел убедить их перейти на сторону революции. Инициированный и осуществлённый Керенским арест министра юстиции и председателя Государственного совета И.Г. Щегловитова (не очень оправданный с точки зрения тактики революции) – ещё одно знаковое событие в биографии политика. Его программным выступлением стала речь, произнесённая 29 апреля в Таврическом дворце перед делегатами фронта: «Введя в употребление образ “взбунтовавшихся рабов”, Керенский вооружил активистов разного уровня тем риторическим оружием, которое стало использоваться во всевозможных конфликтах. Одновременно он обогатил свою репрезентацию “вождя революции”... Керенский становился образцом для граждан России, желавших избавиться от “оков рабства”, превратиться в настоящих “граждан”. Вождь, воспитывающий в гражданском духе народ, обличая “взбунтовавшихся рабов” и одновременно предлагая образец гражданского поведения, пример для подражания, – создавая такой образ, Керенский укреплял свой авторитет, получал дополнительный властный ресурс» (с. 250). Парадоксальность ситуации заключалась в том,

что укрепление образа Керенского как вождя происходило как раз за счёт той рабской психологии неизжитого патернализма, против которой якобы он и выступал. Именно благодаря «рабам» популизм сделал его вождём и убрал с политической сцены более тяжело-весных политиков. С другой стороны, найти адекватный язык общения с той пёстрой революционной толпой, которую представляло собой население революционной России, без использования популистской, демагогической риторики, без использования ярких метафорических образов, позволявших воздействовать не столько на разум, сколько на эмоции толпы, вряд ли было возможно.

Но не все мероприятия Керенского принесли ему успех. Майская законодательная инициатива по принятию «Декларации прав солдата» серьёзно подорвала в солдатской массе авторитет министра. В этой декларации Керенский очередной раз корректировал содержание Приказа № 1, введёвшего, по мнению Колоницкого, принцип выборности командиров (с. 292). Вместе с тем, как мне представляется, этот приказ формально не ограничивал власть офицеров в военных делах и не вводил принцип выборности командиров, но посредством создания солдатских комитетов выводил солдат из-под офицерского начала в делах гражданско-политических. Из-за чрезвычайно творческой интерпретации и правоприменения приказа в отдельных воинских частях он стал символом освобождения солдат от власти офицеров. Вскоре был издан Приказ № 2, разъяснявший, что в предыдущем приказе речь шла о выборности солдатских комитетов, но не начальства. Однако в условиях всеобщей эйфории каждый понимал приказы, декларации, лозунги так, как это соответствовало его революционным ожиданиям. Керенский, до данного эпизода хорошо чувствующий революционное время, пошёл против него, попробовав вернуть солдат под власть офицеров, чем вызвал критику слева. Это, считает автор, внесло определённые корректировки в народный образ Керенского, который стал «персонификацией нарастающего конфликта» (с. 304).

Однако для формирования культа Керенского было важно не только то, что он делал, а от чего воздерживался. В качестве «революционного министра» он играл роль «примирителя». Эта функция оказывалась особенно

важной в контексте противостояния Петровета и Временного правительства. Керенский пытался выступать третейским судьёй, быть выше межпартийных разногласий, публично заявляя о своей беспартийности. Исходя из этой стратегии, Колоницкий находит объяснение такому странному, на первый взгляд, эпизоду в биографии министра, как его отсутствие на одном из главных мероприятий революционного Петрограда — похоронах жертв революции на Марсовом поле 23 марта 1917 г. Отказываясь от официальной версии о занятости министра, автор предлагает свою: на похоронах он «не мог быть одновременно и в группе членов Временного правительства, и в группе руководителей Совета. Политически же для него такое одновременное присутствие в двух органах власти было очень важно, поэтому разумнее оказалось игнорировать эту грандиозную манифестацию» (с. 191–192).

Решающим в политической карьере Керенского и развитии образов его культа стал июнь 1917 г., на который пришлось не только Первый съезд Советов и очередной кризис Временного правительства, но и широко распропагандированное военным министром «наступление». Хотя, как известно, ещё до революции оно было запланировано на весну 1917 г. и согласовано с представителями Антанты, правда, многие генералы уже тогда пессимистически оценивали шансы на успех. Тем не менее Керенский лично взялся за обеспечение рекламно-пропагандистской кампании и пошёл на серьёзный риск, связав свой личный успех с успехом на фронте. Для этого потребовалась корректировка стратегии саморепрезентации: в образе Керенского появились милитаристские черты, что породило разговоры о его бонапартистских замашках.

Колоницкий выстраивает оригинальную реконструкцию образа Керенского—Наполеона: он, играя роль народного вождя революции, обходя строй солдат и матросов, за руку здоровался с ними, вследствие чего очень скоро стал испытывать боль в кисти правой руки. Некоторое время Керенский носил руку на повязке, но затем нашёл более выразительную позу: стал по-наполеоновски прятать её за отворот тужурки. На новом этапе политик ограничил собственные демократические жесты и всё чаще вместо пешего обхода солдат с неизменным рукопожатием

использовал автомобиль или лошадь, держась на расстоянии от народа. Но иногда это приводило к рождению комических образов. Так, описывая неуклюжего Керенского на белом коне, объезжавшего строй кавалеристов, Колоницкий цитирует генерала П.А. Половцова: «Рожи казаков Запасной сводно-гвардейской сотни не оставили во мне никаких сомнений относительно впечатлений, произведённых объездом» (с. 433).

Современники усматривали признаки бонапартизма и в других фактах. Например, в использовании Керенским любимого автомобиля Николая II, в его переезде на жительство в Зимний дворец (говорили, что не случайно Керенский поселился в покоях Александра III, а Половцов рассказывал, что Керенский даже изменил свою подпись с «А. Керенский» на «Александр К.», причём букву «К» старался выводить так, чтобы она напоминала римскую «IV»⁹). Автор приводит слухи о том, что при объездах войск министр пользовался белой лошадейю Николая II и «в одних случаях “Керенский на белом коне” — сильный политик (революционный или контрреволюционный), в других — трагикомический самозванец, претендующий на роль вождя без должных к тому оснований» (с. 434). При этом историк подчёркивает, что с лета 1917 г. в определённой части общества начал доминировать комический образ, и из «Наполеона» Керенский превращался в «плюгавенького Наполеонишку».

Трагической для репрезентации образов министра стала тема его «продажи». Превратившись в коммерческо-выгодный проект, образ Керенского пошёл в тираж, что привело к десакрализации вождя, разрушению его харизмы. Массовое сознание очень быстро инвертировало идею продающегося образа в идею продажного политика, что было подхвачено в стане политических противников. Колоницкий обращает внимание, что именно с мая 1917 г. лидеры большевиков начали открыто обвинять Керенского в измене делу революции, продажности «буржуям». Л.Д. Троцкий использовал уничижительную характеристику Керенского как «математической точки бонапартизма». Развивая тему фемининных аллегорий, можно отметить некоторые параллели в динамике образов Керенского и России, их символической судьбе: если весной 1917 г. революционная Россия в визуальных источниках часто

персонифицировалась в образе невесты, то ближе к осени она превращалась в продажную девку.

К первой годовщине российской революции Гиппиус, сначала восхищавшаяся Керенским, дала ему очень точную характеристику в стихотворении «Кто он?»: «Проклятой памяти безвольник, // И не герой — и не злодей, // Пьеро, болтун, порочный школьник. // Провинциальный лицедей, // Упрям, по-женски своенравен, // Кокетлив и правдиво-лжив, // Не честолюбец — но тщеславен, // И невоспитан, и труслив»¹⁰. Действительно, практически каждый образ, создаваемый Керенским и его окружением в 1917 г., имел свой антагонистический вариант. Колоницкий обращает внимание на амбивалентность культа вождя и считает, что председатель правительства сознательно манипулировал массами, когда «посылал и своими действиями, и своими речами разные сигналы разным аудиториям» (с. 155). Эмоциологический подход в исследовании его культа позволяет предположить, что в период максимального эмоционального переживания революции обывателями именно Керенский оказывался наиболее сильным раздражающим стимулом, вызывавшим широкий спектр эмоций — от любви до ненависти, что хорошо прослеживается по источникам личного происхождения. Вместе с тем в период угасания революционных страстей, распространения социально-политической апатии летом—осенью 1917 г. прежняя риторика, манера поведения Керенского начинали диссонировать с настроениями большинства. Хорошо прочувствовавший специфику «медового месяца» революции, он упустил момент перерождения массовых настроений и ожиданий, вследствие чего был «переигран» Лениным.

Изучая особенности психологической атмосферы, сделавшей возможным проникновение культа вождя в сознание обывателей, автор приводит мнения современных исследователей по поводу исторических предпосылок авторитаризма в 1917 г. и последующей советской истории. Так, В.П. Булдаков и Т.Г. Леонтьева отмечают инерцию дореволюционной архаики, связанную с неизжитым патернализмом и сакрализацией фигуры царя. Я. Плампер считает, что культ личности характерен прежде всего для закрытого типа обществ¹¹. Впрочем, Колоницкий тоже неоднократно отмечал архаичность мышления широких слоёв подданных,

разочаровавшихся в годы Первой мировой войны в верховной власти¹². При этом происходившая десакрализация власти отнюдь не означала победы рационального мышления над религиозно-мифологическим — изучение культа Керенского демонстрирует сохранение в 1917 г. архаичной патерналистской традиции в массовом сознании российских граждан.

Историк затрагивает много оригинальных и важных тем, позволяющих по-новому взглянуть на старые сюжеты и ставящих вопросы для будущих исследований. Так, констатация определённой роли архаичного сознания современников предполагает более углублённое изучение магического мышления. В этом контексте определённый интерес представляет эсхатологическая символика: некоторые российские крестьяне в годы Первой мировой войны антихристом называли Николая II, причём важной inferнальной деталью считались его поездки на автомобиле по подземному ходу в Германию; в 1917 г. «анхристом» стал и Керенский, который куда-то улетал на аэроплане. Но, кроме негативно-инфернальных образов, можно расширить исследования фольклорно-народной традиции изображения Керенского. Колоницкий, например, упоминает сказочные формы, посредством которых обыватели интерпретировали действия «вождя народа». В ряде случаев в них облекались касавшиеся политика слухи. Подобные интерпретации событий в крестьянской и рабочей среде периода Первой мировой войны и революции уже отмечались в историографии¹³.

В целом актуальное исследование Б.И. Колоницкого, проведённое на широкой источниковой базе, выгодно отличается от многих юбилейных трудов, спешно выпущенных к 2017 г. Оно представляет несомненный интерес в фактографическом, методологическом и источниковедческом плане, пересекается с современными историографическими направлениями — культурной историей, исторической антропологией, эмпирической и имагологией.

Примечания

¹ См., например: *Старцев В.И.* Крах керенщины. Л., 1982; *Иоффе Г.З.* Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов. М., 1995; *Басманов М.И., Герасименко Г.А., Гусев В.К.* Александр Фёдорович

Керенский. Саратов, 1996; *Федюк В.П.* Керенский. М., 2009; *Тютюкин С.В.* Александр Керенский: Страницы политической биографии (1905–1917). М., 2012; *Abraham R.* Alexander Kerensky: The First Love of the Revolution. L., 1987.

² См., например: *Figes O., Kolonitskii B.* Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917. Yale, 1999; *Колоницкий Б.И.* Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 г. СПб., 2001; *Колоницкий Б.И.* «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010.

³ Подсчитано по: Ежедельник статистического отделения Петроградской городской управы. Пг., 1914–1917.

⁴ *Карамзин Н.* История государства Российского. В XII т. В 3 кн. Кн. 3. М., 2004. С. 425.

⁵ *Половцов П.А.* Дни затмения (Записки главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерала П.А. Половцова в 1917 г.). М., 1999. С. 182.

⁶ *Колоницкий Б.И.* Феминизация образа А.Ф. Керенского и политическая изоляция Временного правительства осенью 1917 г. // Межвузовская научная конференция «Русская революция 1917 г.: проблемы истории и историографии». Сборник докладов. СПб., 2013. С. 93–103.

⁷ *Подвойский Н.И.* Год 1917-й. М., 1958. С. 8.

⁸ О фемининных образах России-невесты в 1917 г. см.: *Корнаков П.К.* Символика и ритуалы революции 1917 г. // Анатомия революции. М., 1997; *Аксёнов В.Б.* 1917 год в художественном восприятии современников // Отечественная история. 2002. № 1. С. 96–101.

⁹ *Половцов П.А.* Указ. соч. С. 181–182.

¹⁰ *Гунпиус З.Н.* Стихи: Дневник (1911–1921). Берлин, 1922. С. 88.

¹¹ *Буддаков В.П., Леонтьева Т.Г.* Война, породившая революцию. М., 2015. С. 465; *Плампер Я.* Алхимия власти: культ Сталина в изобразительном искусстве. М., 2010. С. 12.

¹² *Колоницкий Б.И.* К изучению механизма десакрализации монархии (слухи и «политическая порнография» в годы Первой мировой войны) // Историк и революция. СПб., 1999. С. 72–86.

¹³ *Steinberg M.* Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca, 2002; *Аксёнов В.* «Сказка о царе и мировой войне», или опыт реконструкции мифологического дискурса российских крестьян в 1914–1917 гг. // Acta Slavica Iaponica. 2014. Т. 34. Р. 17–47.